

вам исследователя Юргеса Хабермаса, предложившего этот термин, существовала искренняя вера в то, что «искусства и науки будут способствовать не только покорению природы, но и пониманию мира и человека, нравственному самосовершенствованию, справедливости общественных институтов и даже счастью людей» [4:45].

В России «проект модерн» был подготовлен новым отношением к культуре, которая в XVIII веке перестала быть «культурой единого текста» как текста сакрального, образцового. Она превратилась, по мнению исследователей Н. Хренова и К. Соколова, в «культуру различных грамматик» в зависимости от существования множества различных субкультур (масонская, вольтерьянская) [5:457]. При подобном «плюрализме картин мира» каждая из этих культур предлагала свою концепцию идеального бытия человека. При этом все искусство, интегрирующееся в «проект модерн», нагружалось необходимым педагогическим потенциалом.

В этом проекте «модерн», которому в России XVIII века суждено было остаться незавершенным, важнейшая роль отводилась женщине как воплощению «естественной не испорченности» нравов. Популярнейший в России Д. Локк в своей педагогической концепции («Некоторые мысли о воспитании») ассоциировал ребенка с «чистой доской», на которой воспитатель может писать все, что угодно. В этом случае, по словам Ю. Лотмана, «идеальным объектом просвещения казалась женщина-ребенок, *tabula rasa* в двойном смысле» [6:310]. Она рассматривалась как «идеальная» сущность, подготовленная для всякого рода «педагогических» экспериментов». В этом заключалась ее сила и власть над умами писателей.

Специфика русской ситуации «проекта модерн» заключалась еще и в том, что в XVIII веке практически на протяжении всего столетия женщины обладали реальной политической самодержавной властью. Ситуация, которая никогда ни «до», ни «после» в истории России не повторялась. В результате права «тайной государыни», о которых писал Э. Фукс, превращались во власть государыни явной.

Это самодержавное «женское» начало проявилось в русской культуре еще с образом царицы Софьи, с которой Петр воевал так же напряженно, как с Карлом XII, а потом наступает черед Анны Иоанновны, Елизаветы, Екатерины. Даже супруга Павла, императрица Мария Федоровна, узнав о насильственной смерти мужа, не упала в обморок, но захотела «править» в обход своего совершеннолетнего 23-летнего сына. Вот какими сильными оказались для этой немецкой принцессы русские культурные традиции. Об этом очень подробно и со знанием дела писала в своих воспоминаниях графиня Варвара Головина.

Более того, порой, создавалось впечатление, что в России по-другому просто быть не может. В этом случае мемуарные свидетельства представляют бесценный материал для понимания специфики исторической психологии людей того времени. А. Болотов признается, рисуя состояние русского общества в декабре 1761 года после смерти Елизаветы и вступления на престол Петра III, «Родившись и проведив все дни под кротким правлением женским, все мы к оному так привыкли, что правление мужское было для нас очень дико и ново» [7:372]. Для сравнения в записках Г. Державина законно воцарение Павла ассоциируется почти с неприятельским нашествием на Петербург, в чем опять можно усмотреть гендерный аспект. Он пишет: «Тотчас во дворце прияло все другой вид, загремели шпоры, ботфорты, тесаки и, будто по завоевании города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом» [8:182]. Имеются в виду «женские» покои Екатерины II.

Проблему «женского извода» государственного мифа русской цивилизации рассматривал И. Ионов. При этом исследователь-историк приходит к выводу, что для XVIII века присутствие женщин на престоле было единственным возможным выходом, гендерной альтернативой, так как «Петр оставил своим наследникам-мужчинам слишком большие и разношерстные сапоги, чтобы хоть один из них мог ими пользоваться без ущерба для себя и страны» [9:77]. Правление мужчин в XVIII веке (Петр

II, Петр III, Павел) все время вызывало угрозу нового Смутного времени». Поскольку в XVIII веке «только женщины-императрицы, несмотря на все их слабости, противоречия, непоследовательность и зависимость от фаворитов, производят впечатление взрослых людей, под ногами которых, прячась за широкие юбки, бегают вечные мальчишки-императоры» [9:77].

Поэтому, с точки зрения И. Ионова, эпоху правления женщин-императриц в России никак нельзя недооценивать. Это «была очень важная связка в отечественной истории, заполнившая образовавшийся после петровских реформ разрыв, и обозначившая частичную смену насильственной европеизации, проводимой государством, элементами *спонтанной* европеизации через элементы частной жизни, забавы и «праздное», на первый взгляд, времяпрепровождение» [9:83-84]. Действительно, именно эту эпоху выросли «целые пласты культуры», культивировалась свобода светской жизни (следование моде, чтение галантной литературы, необходимость изучения иностранных языков). Эта «частная» в контексте государственного мифа русской литературы жизнь русского женского двора находит свое отражение, прежде всего, в «альтернативной» литературе эпохи, т. е. литературе мемуарно-автобиографической.

Именно из этой литературы мы узнаем, что в XVIII в. были созданы механизмы «женского правления», так называемы «женские органы власти» (термин Ионова), традиционно существовавшие при императрицах, и в которые входили наиболее приближенные к ним дамы. Это «царицына комната» Анны Иоановны, «интимный солидарный кабинет» императрицы Елизаветы Петровны. Вообще, и для молодой Елизаветы, и для молодой Екатерины была очень характерна «стратегия самоутверждения при помощи женских средств и в женском обществе» (Ионов). Так, Екатерина в записках признается, как она, будучи еще юной великой княгиней, «самоутверждалась» при дворе Елизаветы через лесть по отношению к близким кабинету «старушкам», через знания имен их мосек, болонок, попугаев, дур, карлиц и т. д.

К «женской стратегии» Екатерины можно отнести также традицию «соблазнения», очарования людей своим личным индивидуальным обаянием, что привидило к тому, что подданные привыкали относиться к правителям не как к абстрактным отражениям некоего сакрального прототипа, «alter ego» бога на земле (как в одах Ломоносова, написанных в елизаветинскую эпоху и для Елизаветы), но как к частным добродетельным людям на престоле, ориентируясь при этом на свои личные впечатления при оценке персональных качеств правителя.

Очень ярко это стратегия «гендерного» поведения Екатерины отражается в мемуарно-автобиографической прозе Г. Державина, где он описывает свое статс-секретарство при императрице. Он пишет об императрице: «Часто случалось, что рассердится и выгонит от себя Державина, а он надуется, даст себе слово быть осторожным... но на другой день, когда он войдет, то она тотчас приметит, что он сердит: зачнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить... так что он позабудет всю свою досаду и сделается по-прежнему чистосердечным» [8:156].

Для Екатерины управление страной, безусловно, включало в качестве необходимого элемента «женскую» игру с мужскими судьбами, когда императрица умела великолепно использовать необходимые качества нужного для нее человека. В данном случае «прямоту» и «честность» Державина, учитывая при этом, что он еще и «горяч и в правде черт». Поэтому Екатерина никогда не страдала от извечной российской проблемы — нехватки способных людей. Об этом же качестве Екатерины князь М. Щербатов в своем известном сочинении «О повреждении нравов в России» говорит с крайне отрицательной коннотацией (она из «жен жена»). Имея в виду, что императрица «за правило себе имеет ласкать безмерно и уважать человека, пока в нем нужда состоит, а потом по пословце своей, выжатый лимон кидать» [10:93].

Статус мужчины в России второй половины XVIII в — это статус фаворита. Русский фаворит — это не европейская метресса короля, даже такая талантливая,

как мадам Помпадур. Фаворит в России — это, прежде всего, «вельможа», т. е. человек, который «много может». В идеале — это не только мужчина, которого допускают в постель императрицы, но это ещё и полководец, и государственный деятель. Не случайно культурный миф «вельможи» в русской литературе XVIII века оказался необыкновенно хорошо «прописан», даже если ограничиться творчеством одного Державина. В «Водопаде» о Потемкине сказано — «могучий, хоть и не в порфире». Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» в главе «Спасская полесь» подчеркивает «наглое своеволие» фаворитов, толпящихся у трона. М. Щербатов утверждал, что «каждый любовник (Екатерины — Е. П.)... каким-нибудь пороком за взятые миллионы одолжил Россию» (Потемкин — роскошь, лесть, властолюбие; Ланской — жестокосердие; Зорич — «великая игра» [10:83].

Однако при всей своей великой власти фаворита все же временна, преходяща. В то время как власть женщины-монарха постоянна и «самовластна». Примечательно, что тот же князь Щербатов, борясь с развращением нравов в России, одновременно боролся и с «гинеκραтическим» мифом государственного правления, утверждая, «что жены более имеют склонности к самовластию, нежели мужчины», Екатерина же в его изображении «есть из жен жена». Поэтому «ничто ей не может быть досаднее, как то, когда докладывая ей по каким делам, в сопротивление воли ее, законы поставляют, и тотчас ответ от нее вылетает; а разве я не могу, невзирая на законы, сего учинить. Но не нашли никакого, кто бы осмелился ответить ей, что может, яко деспот, но с повреждением своей славы и поверенности народной» [10:87].

Кстати, тот идеал монарха, который Щербатов создает на страницах своего сочинения, это, однозначно, идеал мужчины-правителя, так как упоминается, что он должен показывать подданным пример «своим домашним согласием со своей супругой, и гонящего любострастие», как специфическую женскую черту. Тут, безусловно, апелляция к культуре «галантного» века. На законодательном же уровне конец эпохи «гинеократии» был положен императором Павлом, когда в 1797 г. он вернулся к допетровской традиции престолонаследия с передачей власти старшему сыну.

Но парадокс гинекратического мифа в России заключается еще и в том, что женщина-императрица должна была с необходимостью обладать набором мужских качеств.

Еще немецкий философ В. Шубарт, рассуждая о феномене русской женщины, писал, что «разные народы дали разные образцы человеческого идеалов... Россия... предстает идеалом своей женщины» [11:183]. Однако он же указывал на присущую русской женщине андроцентричность (от слова «андрогин» — существо, соединяющее в себе и мужское и женское начало). Эта андроцентричность рождается на пересечении традиций двух противоположных культур — Европы и Азии, так как Россия — это «христианская часть Азии».

Шубарту вторит философ И. Ильин, отмечая, что русская женщина «по-особому женственная», она «умеет подать и реализовать ставшей мужественным характер в форме вечно-женственного», в ней «в женской форме находят свое выражение и вечно-женственное, и вечно-мужественное, достигая в ней желанного равновесия» [12:190-192].

Интересно, что об этом в русской литературы XVIII века впервые с достаточной степенью откровенности сказала немка Екатерина в своих записках, отметив свой «мужской» ум при сохранении всех приятных качеств женской натуры. И именно это обстоятельство она рассматривает как свое основное положительное качество, позволившее ей стать русской императрицей. Действительно, в своих записках она оценивает женщин с пристрастием женщины, а мужчин с беспристрастностью государя-правителя, оценивающего сильные и слабые стороны своих будущих подданных.

Некую апелляцию к андроцентричности можно увидеть и в феномене русского маскарада середины XVIII века, когда императрица Елизавета очень часто надевала мужской костюм, присваивая себе, тем самым, иной гендерный статус. И дело тут